I ’ M A B O U T Y O U

– А что, если остаться?
Е.

Это история о каждом, кто искал ответы и находил в другом лишь отражение собственной боли. О двух одиночествах, которые встретились, но не слились в одно, а научились идти рядом, каждый своим путём, не теряя себя. О том, как не ища ни пропасти, ни спасения в другом, можно обрести нечто большее – разрешение просто быть. И стать домом, который нельзя построить по чертежам – только признать.

А ещё о присутствии. О том, как молчание становится мостом, а взгляд – самым честным признанием. О том, как можно смотреть в разные стороны и от этого не разрывается что-то внутри, а, наоборот, возникает тихая уверенность, что ты не один.

И впервые за много лет получается выдохнуть. Не потому что стало легко, а потому что стало тихо, и в этой тишине, наконец, слышно собственное сердце. Оно просто бьётся.

Они поверили в эту простоту.

Всем, кто устал бежать от самого себя.

Автор: Крупская Екатерина
Вёрстка: Вячеслав Лесь

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Прага 5

Признание 13

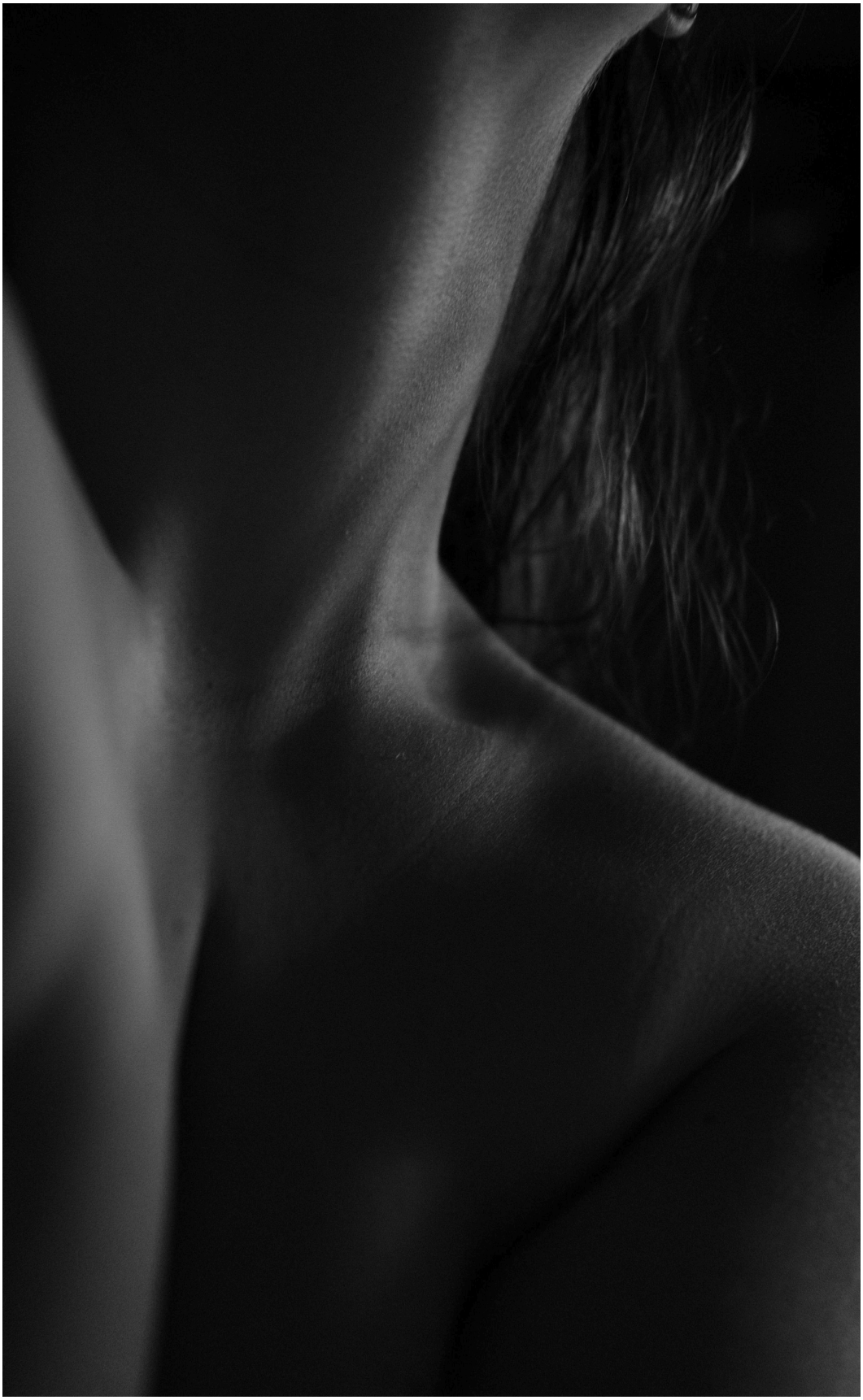
Птица 26

Принятие 37

Присутствие 43

Путь 50

Послесловие 55



П Р А Г А

Путь ведёт сквозь.
Е.

Есть вещи, которые замирают так тихо, что никто не слышит их последнего вздоха. Ты можешь долгие годы носить в себе целый мир из звука, высоты, вибрации, который кажется основой твоего пульса, и внезапно, где-то между утренним стаканом воды и необходимостью выйти на улицу, обнаруживаешь: мир больше не звучит. Не потому что закончились слова, а потому что звучать стало невыносимо – твой голос перестал быть твоим. Его вписали в график, превратили в обязательство, в доказательство права на существование. И осознаёшь это, когда твоё горло уже сжато в немом протесте: *«Если это не моё – я лучше не буду»*. И ты не становишься. Ты выбираешь тишину. Не как поражение, а как единственную оставшуюся форму честности. Именно с этой тишиной она и вернулась. Не для ностальгии – для пунктуации. Чтобы поставить точку там, где когда-то оставила многоточие, растянувшееся на шесть лет жизни в подвешенном состоянии.

Пражский концертный зал. Тот же запах старой пыли, смешанный с лаком для дерева и призраками чужих амбиций. Воздух был густым, настоянным на годах репетиций и пота. Приглашение пришло как записка из прошлой жизни. Лёгкий конверт, не самое лёгкое решение. Приняв его, она не стала искать место в партере – села на холодные мраморные ступеньки у стены, поджав под себя ноги в простых балетках иссиня-чёрного цвета. Платье-футляр того же холодного, глубокого оттенка было её броней и признанием: она пришла сюда не играть. Она пришла смотреть. Быть свидетельницей собственной истории.

Она наблюдала за чужой страстью и ловила странное ощущение, будто наблюдает за сложным, но давно изученным механизмом, каждая шестерёнка которого была знакома ей до тошноты. В этом отлаженном движении не было жизни – лишь подтверждение старой догадки: *«В мире,*

где каждый может быть кем угодно, люди перестают быть вообще». Перед глазами всплывали не картинки, а ощущения в мышцах: изнурительная дрожь в ногах у станка после третьего часа повторений одной и той же связки, хруст в позвоночнике, когда урок заканчивался и она падала на пол, чтобы подышать, глядя в потолок, пока сердце билось в горле. Липкий холод пота на спине под майкой во время бесконечных пробежек по периметру. Каждый выверенный жест на сцене, каждая взлетающая и падающая интонация, эта натренированная неустойчивость в голосе, имитирующая неподдельное чувство, – всё это было знакомо на клеточном уровне. Она знала цену настоящей дрожи перед выходом, этому сладкому и всепоглощающему ужасу растворения в свете. Теперь она была снаружи.

Тишина внутри неё была громче, звонче, правдивее происходящего вокруг. И в этой тишине, под аккомпанемент чужих, заученных реплик, её мысль упёрлась в высокое арочное окно – тёмное стекло, за которым была Прага. Прямо сейчас, за стенами этого удушающего зала, город дышал осенней прохладой. В воздухе пахло жжёным сахаром с трдельников и сыростью от Влтавы. Узкая, брусчатая улица, по которой она шла сегодня, была в нескольких шагах отсюда. Она шла тогда, не зная куда, просто шла, чтобы физически ощутить пространство, где её шаги отдавались гулким, одиноким эхом от мостовой. Улица была пуста. Лишь редкие прохожие, спешащие кутаться в куртки, и пожелтевшая листва, кружащаяся под порывами ветра. Теперь, в витрине маленького, неприметного кафе горел жёлтый, почти медовый свет, но она не искала в нём чужой истории – свет был просто светом, частью уже вечернего города, который принимал её молчание, не требуя ни объяснений, ни красивого фальцета. Он просто был. Её тишина стала фактом. Именно здесь она впервые за долгое время позволила себе заказать на террасе просто чай. Сидела одна, кутаясь в тонкий шарф, смотрела, как день гаснет над морем черепичных крыш. Иногда для глубокого, бездонного покоя достаточно просто перестать бороться с тем, кто ты есть. Перестать пытаться из тишины сделать шум. И вот теперь, сидя в зале, она держала это ощущение внутри, как тайный, живительный кислород, которым дышала наперекладки с затхлым воздухом прошлого.

После финальных поклонов, когда зрители загудели одобрительным шорохом, она бесшумно поднялась и прошла за кулисы. Мышечная память вела её по лабиринту коридоров лучше, чем могло бы любое сознание. И тут её, как крючок, поймал взгляд. Её бывшая преподавательница по вокалу, женщина с железной хваткой, прервала разговор с коллегой, увидев её. Взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по строгому платью, задержался на волосах – коротких, аккуратно уложенных ровной, линией чуть ниже подбородка. В этой системе подобное было немыслимо, почти вызов. Здесь все должны были иметь длинные, послушные волосы – материал для образов, для единой, управляемой эстетики. Её каре, сделанное год назад, было молчаливым, но абсолютным заявлением, сделанным не для них, а для себя без объяснений.

– *Ты?* – просто произнесла женщина, и в её низком, поставленном голосе прозвучало не осуждение, а тихое, искреннее удивление. Та самая, что брала то сырое, что в ней было – природный тембр, абсолютный слух, чистую подачу – и встраивала в безупречную систему, не меняя, как она сама думала, сути, а лишь обрамляя, шлифуя, оформляя по строгим, непреложным правилам.

– *Да,* – кивнула она спокойно. Улыбка, возникшая на её губах, была лёгкой, вежливой, прозрачной. Без привычного напряжения в плечах, без вызова в глазах.

Женщина сделала шаг ближе, изучая её лицо, спокойный, прямой взгляд, в котором не читалось ни трепета, ни страха.

– *Ты выглядишь… по-другому. Совершенно. Мы думали, ты совсем ушла из этого мира,* – пауза, взгляд снова скользнул к волосам. – *Голос остался?* – вопрос прозвучал не как требование вернуть долг, а как констатация факта, отстранённый интерес.

– *Он со мной,* – ответила она ровно, почти машинально коснувшись пальцами основания горла. – *Просто теперь он живёт в другом месте.*

Не отказ, не обвинение. Это была просто правда, высказанная без надрыва, без ожидания понимания. Голос никуда не делся. Он не сгорел, не охрип, не был украден. Он просто… эмигрировал. Ушёл внутрь, стал частью ландшафта её души, а не инструментом для его покорения. Иногда, очень редко, он всё же находил выход не на сцену, а в случайность. В тёплый вечер она могла остановиться возле уличного музыканта, подпеть ему, растворяясь в общем потоке звука. Или соглашалась на разовый вечер в маленьком баре, куда публика приходила не за искусством, а за атмосферой, и можно было позволить голосу быть просто голосом. Это была другая форма существования – лёгкая, временная, не оставляющая следов. И после таких вечеров, в полной тишине пустой квартиры, оставалось только одно – писать самой, чтобы проверить на прочность саму ткань своего существования: *«А могу ли я ещё?»*. Не спеть, не выступить, не поразить, не вызвать слёзы... А жить. Найти ответ на вопрос: *«Остался ли во мне, под грудой молчания и заученных текстов, хоть какой-то звук, который принадлежит только мне? Хоть один честный слог?»*.

И тогда она увидела его. Преподаватель по сценической речи и движению. Тот самый, кто бился о её непробиваемую броню, как птица о стекло, пытаясь выковырять наружу «искру», «истинную боль», «настоящие, животные эмоции». Он стоял, как всегда, в центре небольшого круга учениц, что-то страстно объяснял. Его взгляд – живой, быстрый, всё считывающий – скользнул по ней, по её статичной фигуре, и прошёл дальше, не задержавшись. Чистое, абсолютное, совершенное неузнавание. Она не отошла, не растворилась в тени. Она сделала шаг и остановилась напротив. Просто смотрела. Ждала, не шевелясь, когда он, наконец, поднимет глаза и наткнётся на её взгляд. И он поднял. Сначала механически, потому что почувствовал точку внимания на себя, потом – с лёгким раздражением человека, которого отвлекли. В его глазах, таящих бездну натренированных эмоций, не было ни тени той старой, назойливой жажды её «раскрыть», «достать», «заставить почувствовать». Была лишь профессиональная, холодная вежливость и лёгкий, немой вопрос: *«Вы что-то хотели? Могу я вам помочь?».* Они простояли так, может, десять полных секунд. Он, оставаясь полуоборотом к ней, продолжил отвечать на вопрос

какой-то взволнованной девушки, она – абсолютно неподвижная. Это был самый честный, самый насыщенный их диалог за все годы. Молчание. В котором не было ни его яростных попыток докричаться до её сути, ни её глухого, отчаянного сопротивления. Наконец, не дождавшись ответа на свой немой вопрос, она плавно развернулась и пошла по коридору, поглощая темноту. И уже издалека, когда её фигура почти растворилась в полутьме технических переходов, донёсся обрывок фразы, брошенной кем-то из его ближайшего окружения:

– Да ты что, это же… Та самая…

Она не замедлила шаг, не обернулась. *«Та самая»* повисло в спёртом воздухе позади, как оторвавшийся, выцветший ярлык от давно сданного в архив, ненужного более сценического костюма. Оно больше не имело к ней ни малейшего отношения. Это было слово о призраке, а она была плотью.

Занавес был опущен, зрители разошлись, яркий, режущий свет погас. Она вышла на пустую сцену, освещённую теперь лишь синим светом аварийных неоновых ламп. Здесь, на этих самых, испещрённых метками половицах, она когда-то систематически переставала быть собой, чтобы раствориться в чужом тексте, в чужой боли, в чужой радости, предписанной режиссёрским экспликациям. Она даже не помнила своё последнее выступление – отключилась в самом его моменте, без остатка отдавшись в тот последний, отчаянный раз. И после этого что-то внутри щёлкнуло и замкнулось навсегда, как выгоревший предохранитель. Девушка сделала несколько шагов вперёд. Мягкая подошва балеток бесшумно скользила по дереву. Её дыхание было ровным, спокойным, принадлежало только ей. Она отмерила знакомый путь от левой кулисы до правой – тот самый, что раньше успокаивал нервы перед выходом. Платье до колен, облегающее каждую линию, строгое и бескомпромиссное, лишь слегка, сдержанно смещалось чёткими складками при каждом движении. Оно не было предназначено для полёта или порыва. Оно было оболочкой, чёткой границей, безупречным контуром собственного выбора.

Остановившись в самом центре, в точке максимального, всепоглощающего внимания, той самой, где когда-то таял её взгляд, она медленно, почти ритуально повернулась на месте. Не для танца или эффекта, а для окончательного обзора. Для прощания. Её взгляд скользил по образам пустых, безмолвных рядов, что стояли перед её внутренним взором, тяжёлому бархату задника, таинственным теням в технических балконах. Это не был жаждущий одобрения или ищущий потерянные части себя взгляд. Это был взгляд взрослого человека, трезво оценивающего пространство, где когда-то жила – и почти умерла – часть её жизни. Неестественный свет ложился на её плечи, руки, шею холодным отсветом, подчёркивая резкие тени. Теперь душа была при ней. Целая. Не для раскрытия в пространство, выставления напоказ или разбирания по косточкам, а для внутреннего, тихого прорастания теперь уже по своим собственным чертежам. Она пришла сюда не за тем, чтобы найти. Она пришла подтвердить простой, окончательный факт: место, где когда-то её голос звучал для других, где его форма имела значение, теперь было лишь точкой на карте её памяти. Местом, которое больше не обладало силой её удержать, приковать, определить.

Она писала. Все эти годы внешней тишины она писала. Молча. В заметках на телефоне, в дешёвых тетрадях на первой попавшейся бумаге. Не для того, чтобы когда-нибудь стать понятой, а чтобы, как с проверкой пульса, убеждаться, что её внутренний мир не мёртв. Что под слоями навязанного молчания и выученных текстов всё ещё бьётся, живёт что-то, принадлежащее только ей. Пусть тихое. Пусть несовершенное. Пусть его придётся переписывать, повторять, искать снова и снова. Но – её. Бесспорно и безоговорочно. Это был её ритуал. Тихая, ежедневная проверка на жизнь. Не громкая, не сценическая, не для посторонних глаз. И оттого – единственно настоящая. Она сошла со сцены в полную темноту кулис. Точка была поставлена здесь, в этом беспощадном безмолвии. И это была её точка.

Когда она вышла на улицу, осенний, влажный воздух обнял лицо живительной прохладой после затхлого театрального полумрака. Город жил

своей обычной, непарадной жизнью – мигали фары машин, шуршали шины по брусчатке, прохожие спешили по своим делам, не подозревая о маленьком, тихом акте окончательной капитуляции, который только что совершился в одном из его старых зданий. И этот мир – настоящий, шумящий, живой – больше не требовал от неё ничьей роли. Она закуталась в плащ, чувствуя, как холод проникает сквозь ткань платья, касаясь кожи. Ей некуда было спешить. Она просто стояла на тротуаре, глядя на этот поток, и внутри не было ни опустошения, как после старых спектаклей, ни триумфа победителя. Было лишь простое, неоспоримое знание, поселившееся в районе солнечного сплетения: один круг завершён. Бесшумно и окончательно. Теперь можно идти дальше. Куда? Да без разницы. Не было плана, не было роли, не было расписания репетиций. Но впервые за очень долгое время это незнание не сжимало горло страхом. Оно… дышало. Было наполненным, как теснота старой пражской улочки. Оно ждало её впереди, прямо здесь, в этом же городе, который теперь был не декорацией, а местом, где можно просто быть.

Пройтись до дома оказалось делом нескольких неспешных поворотов. Она достала из кармана ключ – один из пяти. Металл был холодным, гладким от времени. Затем последовал тихий, уступчивый щелчок, и дверь открылась в тёмный холл, пахнущий деревом. Свет зажигать не стала. Дала глазам привыкнуть к полумраку. Постояла, слушая, как городской шум за спиной растворяется в тишине прихожей. Затем медленно сняла плащ, перекинула через согнутую руку и, дойдя до столика, выпустила ключи. Они мягко, почти беззвучно, легли на столешницу рядом с пустой вазой. Ни звона, ни драмы – просто освобождённая ладонь. Она больше не считала, с чего всё началось. Просто вошла в свою квартиру и знала. Не праздновала. Знала. Сцена осталась пустой. Голос жив. Он стал тишиной. А тишина – это и есть право на жизнь. Путь вёл сквозь. И теперь он просто был.

В городе, который теперь был просто городом. В своей жизни, которая, наконец, и есть жизнь.

